

Л. А. Калинин

ЭРНСТ ТЕОДОР
АМАДЕЙ ГОФМАН
И ИММАНИУЛ КАНТ.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ФАНТАЗИЯ
И ОТВЛЕЧЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ: ЗАГАДКИ
«КРОШКИ ЦАХЕСА»

В статье показано, что смыслы «сказки» «Крошка Цахес...» Э.Т.А. Гофмана исходят из трактата Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?»

Im Beitrag ist gezeigt worden, dass der vielfältige Sinn des Märchens «Klein Zaches, genannt Zinnober» von E. T. A. Hoffmann auf den Traktat von Kant «Antwort auf die Frage: Was ist Aufklärung?» zurückzuführen ist.

Любое художественное произведение укоренено в своем времени. Современникам оно говорит нечто такое, чего уже не улавливают потомки. Хотя, конечно, и современники, и потомки — разные, различны и суд их.

Интересно в этом отношении предисловие к «Принцессе Брамбилле», которым Гофман воспользовался, чтобы сказать во всеулышание, что «сказка "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер" (изд. Ф. Дюммлер, Берлин, 1819) является всего лишь вольным, непринужденным изложением некоей шутиливой мысли» [3, с. 349], стремясь всячески подчеркнуть близость двух этих произведений, что и в самом деле так, если иметь в виду стилистическую манеру, но совсем не так, если речь идет об идейно-тематическом содержании. Писатель увидел, что понят, читая такие письма, какое прислал, например, граф Г. фон Пюклер-Мускау, сообщивший ему о впечатлении от «Циннобера» окружающих его людей: меня заверяли: «Циннобер — это настолько предел всего, что появиться на свет ему никогда не дадут» [4, с. 283]. Видимо, подразумевалось, что на месте правительства надо бы немедленно арестовать тираж издания, как вскоре нечто подобное и случилось с одним из последних сочинений Гофмана — с «Повелителем блох»: повесть после разбирательства, необходимости объясняться перед правительством вышла в свет, но в сильно изуродованном виде. Надо было заботиться о маскировочной ширме, и предисловие к «Принцессе Брамбилле» и призвано было такую ширмою послужить.

Поэтому Гофман был явно рад, когда встретил в печати отклики совсем другого рода и постарался сделать вид, что на разбор такой серьезности и основательности никогда не рассчитывал: «Как же поразился автор, когда наткнулся на рецензию, — пишет он далее в «Предисловии», — в которой эта непритязательная шутка, легко набросанная для увеселения, была с серьезным, важным видом разобрана по пунктам и тщательно указаны все источники, из которых автор, видимо, ее почерпнул» [3, с. 349]. В рецензиях такого рода могло говориться, что все те чудеса, которые демонстрирует Проспер Альпанус или его антагонист фея, — не плод авторской фантазии, а взяты Гофманом там-то и там-то, к примеру, что три золотых волоска на голове Циннобера, вживленных туда феей Розабельверде, были позаимствованы Гофманом из «Детских и домашних сказок» братьев Grimm, первый том которых был опубликован еще в 1812 г., и где имеет место сказка «Черт с тремя золотыми волосами». И в этой сказке, как и в «Крошке Цахесе», надо было вырвать волшебные волосы, чтобы герой решил стоящую перед ним задачу.

Однако свести все дело к шутке, к сказке для развращения от скуки не было в намерениях Гофмана. И он признался, что все же вложил в свое названное им сказкой произведение «глубокий замысел, основанный на ... философском взгляде на жизнь» [3, с. 350]. Он сослался при этом на Карло Гоцци, сочтя правильным не открывать, какой же философский взгляд на жизнь положен им в основание своего «Цахеса», рассудив, что *sapienti sat*.

Великий писатель задал своим оригинальным произведением весьма трудную загадку интерпретаторам-литературоведам, усилия которых разгадать вложенный в него смысл остаются тщетными до сих пор, как то показывает, например, Н. Я. Берковский, авторитетнейший специалист по немецкому романтизму, в своей монографии «Романтизм в Германии», увидевшей свет в 1973 г. уже после смерти автора: «Историки литературы толковали эту повесть самым причудливым образом, показав тем самым, что *старый романтик* (курсив мой. — А. К.; я классификацию Гофмана в качестве романтика оспариваю) мыслил не в пример реальнее» [1, с. 459], — писал он; однако, по-моему, и то толкование, что дал замысловатому творению сам Н. Я. Берковский, не является разгадкой. Он пробует объяснить все фантастические события, развертывающиеся с маленьким уродцем, внедрением во все поры общества буржуазно-денежных отношений. «Цахес, — пишет он, — это сама материя общественной жизни в ее поразительных, хотя и повседневных парадоксах. В этой повести Гофман разрабатывает генеральную свою тему: фантастики обыденной жизни» [1, с. 460]. И он упрекает Гофмана в непоследовательности. Раз Цахес — это денежный мешок, с легкостью присваивающий себе чужие таланты и даже невесту, то в воле автора «Цахеса» было пустить его в княжестве Керепес по финансовой части, а он, автор, этого не сделал, пустив его по министерству иностранных дел, тогда как все должно объясняться *золотыми* волосками феи Розабельверде, каким-то образом связанными со звонкой монетой. Последовательного толкования творения Гофмана у Н. Я. Берковского, на мой взгляд, так и не получилось.

В этом отношении мало что изменилось от начала 1970-х гг. до настоящего времени¹, и даже в определении жанра этого явно особенного произведения, созданного в последние годы жизни Гофмана, исследователи идут у него на поводу и соглашаются, что имеют дело со «сказкой», хотя тот лукавит и сам не раз называет свое создание «повестью».

¹ См., например [2].

Да, Э. Т. А. Гофман как бы летает на крыльях романтической изошренной фантазии, романтической иронией он вооружен никак не хуже Фр. Шлегеля, безусловно служит ему поэтика сказки. Однако в руках писателя все это — лишь послушно предоставляющие ему свои услуги средства для достижения целей, к романтизму имеющих мало отношения, а к сказке — и еще меньше. Новое понимание внешнего мира, новое понимание природы искусства влекут за собой кардинальную перестройку, казалось бы, уже привычного жанра романтической повести, рассмотреть которую возможно лишь при условии осознания факта кардинального изменения мировоззрения писателя.

Фантазия в руках Гофмана — лишь вспомогательное средство для постижения реальности в ее сложных социально-политических аспектах. Эти аспекты общественной жизни доступны лишь разуму — чувственные формы сознания сами по себе, самостоятельно действующие, здесь бессильны. И если писатель намерен показать эти абстрактные основы жизни, он должен использовать образные формы души особым образом, если не собирается создавать философский трактат, диалогически изложенный, когда можно обойтись минимумом образности. Художественное произведение многослойно. Слой его содержания выявляемый и слой, это содержание делающий явленным, совершенно различны в отношении потребных форм сознания, и связь между этими слоями оказывается возможной лишь как *символическая* связь. О затруднениях такого рода много размышлял Кант в «Критике способности суждения», рассматривая с гносеологической точки зрения феномен искусства: «*Эстетическая идея*, — пишет Кант, — не может стать познанием, так как она есть *созерцание* (воображения), для которого никогда нельзя найти адекватного понятия. *Идея разума* не может стать познанием, так как она содержит в себе *понятие* (о сверхчувственном), которому никогда не может быть дано соответствующее созерцание.

Я думаю, — подводит он итог этого сопоставления, — что эстетическую идею можно назвать *необъяснимым* представлением воображения, а идею разума — *не поддающимся демонстрации* понятием разума» [6, т. 5, с. 363]. Отношение между *эстетической идеей* и *идеей разума* может быть только символическим, символ же «не означает, как обычно понимают это слово, несовершенного сходства двух вещей, а означает совершенное сходство двух отношений между совершенно несходными вещами» [6, т. 4(1), с. 181].

Гофман несколько туманно, но настойчиво говорит об отношении двух планов «Циннобера»: намерение рассказать читателю о мучившей его философской *идее разума*, с одной стороны, «ибо страсть, родившаяся в его душе, с непреодолимой силой побудила его написать эту повесть» [8, с. 203], и результате — художественной идее — с другой, нашедшей реализацию в фантазмагорическом ее сюжете. Он призывает читателя сдружиться с этими странными образами; «они внушены поэту призрачным духом — Фантазусом, — чьей причудливой, прихотливой натуре он, быть может, позволил чересчур увлечь себя. А посему не хмурься на обоих — поэта и причудливого духа! А если ты, любезный читатель, *изредка кое-чему улыбался про себя* (курсив мой. — I. K.), то ты был в том самом расположении духа, какое желал вызвать пишущий эти страницы, и тогда, думает он, ты многое не вменишь ему в вину» [3, с. 203].

Поэт и странный, незримо бесплотный дух Фантазус работали вместе. Поэт хотел бы, чтобы читатель, угадывая мучившую его страсть, «изредка кое-чему улыбался про себя», ибо осознанный смех читателя — единственный способ для поэта воздействовать на реальность. Фантазус иногда брал верх

над поэтом и его намерениями. Но на то он и причудливый дух. Результат мог бы быть точно по Канту, если бы поэт и его дух были строго скоррелированы и ни один из них не смог бы увлечь другого на свою территорию: «Символ какой-нибудь идеи (или какого-нибудь понятия разума), — пишет Кант, — есть представление о предмете, составленное по аналогии, то есть по одинаковому отношению к некоторым следствиям, как то, что приписывается предмету в качестве его следствий, хотя сами символизирующий и символизируемый предметы совершенно различного рода...» [6, т. 6, с. 203]. Однако, пусть относительная, отступающая перед игрой воображения корреляция между двумя слоями содержания «Крошки Цахеса» все же имеет место, и она вполне поддается установлению.

Приходится, правда, констатировать, что справедливы утверждения о необходимости учитывать интертекстуальный характер произведения при его интерпретации. Подчас от этого она зависит коренным образом. Очень часто ориентация на гетеротекстуальную ситуацию для автора является определяющей, что во многом объясняется фактом общественной значимости тех метатекстов, которые актуальны для сознания эпохи. Современная произведению публика не испытывает затруднений в усмотрении интертекстуальных связей в нем, а вот для последующих поколений читателей это далеко не так очевидно. И вся таинственность содержания «Крошки Цахеса» объясняется именно этим обстоятельством. Собеседники графа Пюклер-Мускау, например, как это видно из его письма Гофману, трудностей в прочтении и адекватном понимании гофмановского шедевра не испытывали. Читатели Гофмана вполне могли «изредка кое-чему улыбаться про себя», узнавая в образах и сюжетных ситуациях «Циннобера» идеи знаменитого памфлета Иммануила Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?»

Именно содержание этого памфлета великого своего учителя, что бы ни говорили о полнейшем безразличии выдающегося кёнигсбергского художника к Канту и кантианству, облек Э.Т.А. Гофман в фантастические образы своего таинственного произведения. Вся неопределенность и многозначность фантазии исчезает, стоит лишь взглянуть на разворачивающиеся перед нами события с этой точки зрения.

Первое, что всегда следует пытаться понять, когда мы хотим проникнуть в смысл текста, — это побудительные мотивы к его созданию. У великих произведений не может быть мелочных мотивов, цели их всегда значительны. Только выражение великих, общезначимых целей делает общезначимыми и долговечными творения искусства. А «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» продолжает жить уже совсем скоро два столетия, и злободневность его от этого не убывает. Его значительность определяется не только значительностью тех исторически-действенных фактических событий, осмыслению которых посвящает Гофман свое произведение, но и глубиной и важностью *методологии оценки их*, с позиции которой писатель на них смотрит.

Рубеж XVIII и XIX столетий — это время, когда в Европе рушились феодально-абсолютистские режимы под штыками наполеоновских армий и вызревал новый общественно-политический порядок под действием «Декларации прав человека и гражданина», правда, умеряемой «Кодексом Наполеона» в демократических устремлениях. Материальную силу демонстрировали идеи Просвещения. Гофман был свидетелем всех этих процессов; более того, они прямо отразились на его социальном положении, когда под натиском войск Наполеона развалилась старая Пруссия. Но ему довелось наблюдать и

частичный реванш застойных и умирающих феодальных режимов, когда, в первую очередь благодаря России, Наполеон был разгромлен, создан Священный союз и началась эпоха Реставрации. Конечно, полное возвращение к прежним порядкам было уже невозможно, и некоторые реформы в духе идей Просвещения были проведены. Однако абсолютная монархическая власть всячески противостояла демократизации общества. Противники старого режима были подвергнуты полицейско-судебным преследованиям, возникли так называемые процессы над «демагогами», в которых Гофман вынужден был принять участие, поскольку, будучи советником апелляционного суда, он 1 октября 1819 г. распоряжением Фридриха Вильгельма III назначается членом «Непосредственной следственной комиссии по расследованию изменнических связей и других опасных происков». Деятельность свою на этом посту Гофман начал тем, что, инспектируя имеющиеся дела, представил ряд заключений, в которых потребовал освобождения некоторых арестованных демократически настроенных людей. Противостояние Гофмана-юриста и высочайших правительственных чиновников наметилось сразу же.

Оценку сущности происходящих в обществе событий писатель и дает сквозь призму политической философии Канта. Определяя главное свойство просвещенного общества, кёнигсбергский профессор утверждает в своем памфлете, что Просвещение вовсе не заключается в росте элементарной образованности и даже не во внедрении, особенно силою и без соответствующей подготовки общества, технических достижений науки в жизнь людей. «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие же есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. А несовершеннолетие по собственной вине — такое несовершеннолетие, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то постороннего. — И Кант подводит итог своего понимания сущности Просвещения как необходимого процесса отказа от патерналистских форм поведения граждан: — Sapere aude! — имей мужество пользоваться *собственным* умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» [6, т. 6, с. 27].

Развивая это понимание Просвещения, Кант в другом трактате под названием «О поговорке: "Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики"», утверждает, что для просвещенного общества характерно, прежде всего, правовое состояние его, а такое состояние покоится «на следующих априорных принципах:

- 1) *свободе* каждого члена общества как человека;
- 2) *равенстве* его с каждым другим как *подданного*;
- 3) *самостоятельности* каждого члена общности как *гражданина*» [6, т. 4(2), с. 79].

Просвещение начинается со свободы, а свобода — с необходимости и возможности пользоваться собственным умом, быть максимально возможно самостоятельным во всех своих делах. «Свобода члена общества, — писал Кант, — как человека, принцип которой в отношении устройства общества и выражаю в следующей формуле: никто не может принудить меня быть счастливым так, как он хочет (так, как он представляет благополучие других людей); каждый вправе искать своего счастья на том пути, который ему самому представляется правильным, если только он этим не наносит ущерба свободе других стремиться к подобной же цели — свободе, совместимой по некоторому возможному общему закону со свободой всех (т.е. с их правом искать своего счастья)» [6, т. 4(2), с. 79].

Как раз в таком правовом, а значит — и просвещенном, состоянии находилось государство Керепес, в котором, правда, не довелось пожить крошке Цахесу, при правлении благословенного князя Деметрия. Гофман его описывает так: «Окруженная горными хребтами, эта маленькая страна, с ее зелеными, благоухающими рощами, цветущими лугами, шумливыми потоками и весело журчащими родниками, уподоблялась — а особенно потому, что в ней вовсе не было городов, а лишь приветливые деревеньки да кое-где одинокие замки, — дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогуливались в нем для собственной утехы, не ведая о тягостном бремени жизни» [3, с. 113].

Но самое главное было вовсе не в природно-климатических ее прелестях: «Всякий знал, что страной этой правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что в числе других там поселились и прекрасные феи доброго племени, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу».

По всей вероятности, речь идет о сказочной идеализации порядков в Пруссии при Фридрихе Великом, правление которого Гофман застал только в детском возрасте и который обрстал легендами еще при его, Фридриха, жизни. А под «прекрасными феями доброго племени», видимо, имеются в виду такие беглецы, преследуемые во Франции, как Ламетри или Вольтер и многие другие, находившие в лице «Великого Фрица» приют и защиту. Чем не порядки князя Деметрия?

Феи, пишет Гофман, охотно даровали бы Деметрию вечную жизнь, но это не было в их власти. Деметрий все же умер, и ему наследовал юный Пафнутий. Этот был совсем иного нрава. «Еще при жизни своего царственного родителя Пафнутий был втайне снедаем скорбью оттого, что, по его мнению, страна и народ были оставлены в столь ужасном небрежении». «Светлейший, блаженной памяти господин папаша — да ниспошлет ему небо нерушимый сон в могиле!» — вовсе и не правил, а «Я хочу править!» — заявил Пафнутий и «вознамерился тотчас распорядиться отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего часа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться» [3, с. 114].

Однако одно дело — хотеть, а совсем другое — уметь. Тотчас же появился советчик в лице министра Андреса. «Преславный государь, — воскликнул ... Андрес, — преславный государь, так дело не делается! <...> Прежде чем мы приступим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать реку судходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссе и дороги и привить оспу, — прежде надлежит изгнать из государства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и свращают народ на различные дурачества. <...> Мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против этих врагов просвещения. Да! Врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти господина папаша, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной тьме. Они упражняются в опасном ремесле — чудесах — и не страшатся под именем *познать разность вредный яд* (курсив мой. — I. K.), который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. <...> А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, — всех фей гнать! Их дворцы оцепит по-

лиция, у них конфискуют опасное имущество и, как бродяг, спровадят на родину...» [3, с. 114—115].

Слабовольный и не ахти дальновидный «повелитель», находящийся целиком во власти фаворитов и министров (не Фридрих ли Вильгельм III?), все же задумался: «... Не почтут ли меры, принятые нами против фей, жестокими? Не возропщет ли полоненный ими народ?» Однако у министра Андреса давно готово средство на сей счет: «Мы ... не всех фей спровадим ... некоторых оставим в нашей стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вредить просвещению, но и *употребим все нужные средства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного государства* (курсив мой. — А. К.; очень важные слова относительно дальнейших событий!). Примите же во внимание, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них будут жить феи, скоро перестанут в них верить, а это ведь лучше всего. И всякий ропот смолкнет сам собой. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну...»

Сказано — сделано, и скоро «на всех углах красовался эдикт о введении просвещения, и в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, накладывала арест на все имущество и уводила их под конвоем».

Все, что пишет Гофман о введении просвещения в княжестве Керепес, соответствует до мельчайших деталей характеристике, данной такому просвещению Кантом: «Правление (Regierung), основанное на принципе благоволения народу как благоволения отца своим детям, иначе говоря, правление отеческое (imperium paternale), при котором подданные, как несовершеннолетние, не в состоянии различить, что для них действительно полезно или вредно, и вынуждены вести себя только пассивно, дабы решения вопроса о том, как они должны быть счастливы, ожидать от одного лишь суждения главы государства и, дабы он и пожелал этого, — ожидать от одной лишь его доброты, — такое правление есть величайший деспотизм, какой только можно себе представить (такое устройство, при котором уничтожается всякая свобода подданных, не имеющих в таком случае никаких прав)» [6, т. 4(2), с. 79]. Просвещение действительное и действенное осуществимо только через просвещение отдельных граждан, каждого конкретного человека; которого надлежит научить критически смотреть на действительность и воспитать не страшась восставать против замеченных недостатков, а главное, самому быть инициативным, творчески активным человеком. Просветить сразу как некое целое всё государство невозможно, нельзя просвещать сразу весь народ в качестве собирательного абстрактного понятия. Общество становится просвещеннее по мере достижения, во-первых, поголовной грамотности, во-вторых, осуществления всеобщего и хорошего среднего образования, далее, всеобщего и обязательного высшего образования, затем — послевысшего...

Собственно, введением просвещения для осчастливливания народа в княжестве и завершается экспозиция «Крошки Цахеса», но, правда, ее осложняют два важных события. Первое такое событие связано с тем, что князю Пафнутию удалось договориться и привлечь на свою сторону — *поставить на службу просвещенному государству* — фею Розабельверде. Обычно читатели воспринимают ее с первого появления на авансцене как милую, сердобольную даму и не обращают особенного внимания на ее длительные переговоры с князем-просветителем в окрестном лесу. Но фея фее рознь! Да, она прекрасна, о прелести ее говорит и имя, располагающее к носительнице его уже только самим собою; но слухами в деревне, что не без ее участия скисает у всех хозяек молоко, совсем пренебрегать, видимо, не стоит. Наивные читате-

ли, коли им доводится изобразить на бумаге ее образ, рисуют фею одними только розовыми красками. Но Гофман, по всей вероятности, не зря же подмечает у нее промелькивающий иногда какой-то хищный взгляд, который от окружающих прячется. Князь взял ее на службу и предоставил незаметное, но почетное местечко канониссы приюта, оградив от преследований со стороны не в меру угодливых княжеских подданных, в своем рвении принявшихся изгонять и эту нужную князю фею.

А второе такое событие, хотя о нем рассказывается в самом начале, т. е. прежде всего повествования, — это выполнение поручения князя Пафнутия. Речь идет о случившейся уже на первой странице встрече канониссы Розеншен и фрау Лизы, бедной оборванной крестьянки, с ее уродцем-сыном крошкой Цахесом и об операции вживления трех волшебных волосков в лохматую его голову. Без сомнения, это был со стороны феи-канониссы акт милосердия, но... не одного только милосердия. Милосердие это было весьма коварным, что читатель осознает только *post factum*, а часто не осознает вовсе. Этим актом она содействовала тому, чтобы в *просвещенном* государстве Пафнутия как можно скорее прекратились попытки к самостоятельной и инициативной деятельности подданных, если такая еще будет случаться. Ведь каждый мог действовать только строго по инструкции и быть под полным контролем государства. В таком случае как бы само собою устанавливается правило: запрещено все, кроме того, что разрешено. Особенно, конечно, преследовались попытки к творческой деятельности. Результат такой деятельности с помощью полученного Цахесом волшебного свойства немедленно им присваивался и становился достоянием государства, так как он — Цахес — стал его важнейшей частью — довереннейшим из министров; а люди активные уравнивались с большинством, лишаясь результатов своего творчества. Это свойство деспотического тоталитарного государства омертвлять все живое в культуре нам хорошо знакомо, и Гофман сумел увидеть его, в чем помог ему кёнигсбергский его профессор. Иммануил Кант в трактате о подлинном смысле Просвещения относительно складывающегося в таких условиях большинства писал: «Леность и трусость — вот причины того, что столь большая часть людей, которых природа уже освободила от чужого руководства (*naturaliter maiores*), все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними; по этим же причинам так удобно быть несовершеннолетним!» [6, т. 6, с. 27]. А люди трудолюбивые и храбрые благодаря дару феи, доставшемуся волей случая «недостойному» Цинноберу, теряют всякую охоту к проявлению своей творческой активности, хотя, к счастью, не сразу и не все из них теряют храбрость. Так, пострадавший от Циннобера первым студент Бальтазар больше уже не испытывал желания сочинять сонеты, а референдарий Пульхер бросил свои занятия юриспруденцией, оставив надежду на честное продвижение по служебной лестнице до ассессора и далее к оплачиваемой судебной должности. Такой был установлен в Пруссии порядок для судебных чиновников. Певица синьора Брагацци и прославленный скрипач Винченцо Сбьокка, когда с ними случилось в Керепесе то же, что и с собственными инициативными гражданами страны, поклялись никогда больше не пересекать его границ.

О том, что милосердием дело дарования Цинноберу его способностей не ограничилось, что сам собою пришел в руки феи удобный случай выполнить одновременно и условия тайного, а автором не афишируемого, договора с

князем, внимательный читатель догадывается, когда обнаруживает, что далеко не случайно фея Розабельверде тотчас же встревожилась и, не медля ни минуты, решила принять предупредительные меры, как только установила, что делу ее — важному для нее «благотворительному» акту — грозит опасность: Цахес может быть расколдован и лишен своих чар. Если бы речь шла не об угрозе взятому на себя обязательству, а значит — и возникающей угрозе ее положению как канониссы, фее не о чем было бы беспокоиться. Ну, не сумел воспользоваться во благо человек дарованным ему когда-то преимуществом и подделом наказан. Только и всего. Но фея так рассуждать, так понимать и относиться к делу не может. Она вынуждена продолжать обещанную игру, хотя и видит, что не все идет так, как должно. При встречах ей все настойчивее приходится предупреждать своего беспечного и самонадеянного подопечного:

«— Прощай, милое дитя мое! Будь разумен, будь разумен, насколько сможешь».

— Adieu, матушка, разума у меня довольно, тебе не нужно повторять мне это так часто», — отвечает ей Циннобер.

Установив доступными ей средствами источник опасности, она сразу же отправилась к Просперу Альпанусу, стремясь его обезвредить, принудить отказаться от возникших у него намерений.

Гофман дает этому магу говорящее о его способностях имя: Prosper Alpanus(os). Его можно перевести на русский примерно так: счастливо (или удачно) дополняющий Пана, т.е. известного греческого бога щедрой и могущественной природы.

И пока фея едет с визитом, я отвлекусь от хода событий, чтобы обсудить вопрос о сущности этого таинственного героя, исполняющего в повести роль своего рода Deus ex machina, роль палочки-выручалочки. Как-то мотивирует Гофман магические его способности? Да, мотивирует, и весьма обстоятельно.

Н. Я. Берковский, видимо, ориентируясь, как и я, на имя, приписывал Просперу Альпанусу силы природы, природы как таковой, той «великой всеобъемлющей природы», которая «управляет то, что допустили общество и государство» [1, с. 462]. Но о какой природе идет речь? О природе естественной, физической природе, или природе разума, о подлинной *природе человека*, способной противостоять его неподлинной, противоразумной природе, насажденной в Керепесе? Я думаю, что такого упования на объективные законы природы у Гофмана нет, что он, как и Кант, противник натурализма во взглядах на сущность морали, права, политики. Надежда на то, что природа способна исправить ошибки людей и заставить их быть добрыми и хорошими вопреки их собственным намерениям, есть упование абсолютно пустое. Берковский писал, что «фея Розабельверде и чародей Проспер Альпанус — двое доверенных лиц, посланных природой в людское общежитие» [1, с. 463]; но суть их вовсе не натуральна: они являются носителями не природных сил, а сил подлинной человеческой природы, т.е. способности к самостоятельному творчеству или к столь же самостоятельному противодействию ему. Они — сохранившиеся остатки свободного общественного строя, того счастливого многомерного мира, какой существовал при князе Деметрии, с тем отличием, что фея приняла новые условия игры, а маг — нет. По всей вероятности, латинская приставка к фамилии Проспера Пануса добавлена не зря: она означает *дополнительность*, то, что *надстраивается над*, в данном случае над силами природы, прибавляя способность управлять ими и даже расширять их за счет другим еще не видимых и другими не знаемых сил. В этой связи весьма кстати

вспомнить о Фабиане, предстающем как образец *несовершеннолетия*. Студент абсолютно верен догматической науке профессора Моша Терпина и готов напрочь изгнать из мира все чудеса вообще, не различая чудеса как таковые и чудеса, могущие быть научно объясненными и из разряда чудес могущие перейти в явления природы. «Я — человек просвещенный, — говорит он, — и не допускаю *никаких чудес*». Потому-то, кстати, он не видит ничего противоестественного в тех ситуациях, где он сталкивается с *эффектом Циннобера*, назовем так это присвоение в пользу государства, в конечном счете, результатов творчества его граждан, осуществляемое Цахесом. В этой полнейшей нескритичности заключено что-то совершенно ни с чем не сообразное. Фабиан просто не отличает реальности от того, что ему кажется реальностью. Он, например, страуса, разгуливавшего в прихожей у Проспера Альпануса, принимает за привратника и очень удивляется, когда тот цапает его за палец; и это повторяется по крайней мере дважды. Не случайно он поменял на все сто восемьдесят градусов свое отношение к чудесам, столкнувшись с необъяснимым удлинением своих фалд и рукавов. Творчество всегда сродни чуду. Имя Аль-Панус, дополняющий Пана, дано Гофманом обдуманно, он подчеркнул тем самым, что свободный разум дает человеку в руки силы, без подобного разума немислимые и кажущиеся просто чудом. Он утверждает, что только разум, соответствующий своей истинной нравственной природе, в состоянии преодолеть и исправить ошибки разума ложного, сколь бы ни оказались могущественными результаты действия извращенного, люциферического разума.

Гофман никогда с природой как таковой не связывает волшебства, колдовских сил и чар, природа — это область строгого детерминизма (могущего быть и неявным), а не свободы и произвола; колдовство есть результат человеческого ума, человеческой фантазии и построенных на фантазии человеческих отношений. Знаменитое гофмановское двоимирие в «Крошке Цахесе», как и вообще во всем творчестве, не нарушается. В этом плане он удивительно последователен, что и должно быть свойственно подлинному кантианцу.

Продолжив это отступление от сюжетных событий, я хочу обратить внимание читателя на странный факт, что никто не видит принципиального различия функций феи Розабельверде и волшебника Альпануса. Тогда как фея явно заинтересована в сохранении и упрочении режима, утвержденного Пафнутием, маг и чародей Проспер Альпанус готов этому режиму противодействовать. Одна направляет свои способности ко злу, другой — к восстановлению попорченного добра, нарушенной справедливости. Они оказываются антагонистами, а их упорно объединяют, как это делает даже Н. Берковский.

Явившись к Просперу Альпанусу, поскольку она быстро и без труда установила, откуда исходит угроза Цинноберу, и будучи с почетом принята в его доме, фея Розабельверде сразу же хотела удивить доктора, показать свою силу и добиться своей цели. В результате началось соревнование, настоящий мифический *агон*, изображенный в сказочной эпической форме, из мифа уходящий корнями к сказкам не только Гриммов, но и Ш. Перро, и В. Гауфа — мифозэпическим корням волшебной народной сказки. Сначала агон развернулся вокруг кофе, который то лился из кофейника, а чашки оказывались пустыми, то не лился, а чашки переполнялись напитком и заливали все вокруг; затем предметом его стала маленькая книга в золоченом переплете... Фея поняла, что сил победить мага у нее не хватит. Она хотела спешно удалиться, но маг объявил, что она в его власти и, не решив того дела, ради которого она

приехала, не уйдет. Тогда агон продолжился, на сей раз в форме сказочно-мифических метаморфоз, но превращения ни в бабочку, ни в мышку, ни в колбри не помогли ей. Розеншен вынуждена была признать свое поражение.

В начавшейся мирной беседе состоялось обстоятельное знакомство. Фей поняла, что в деле с Циннобером ей резоннее всего отступить и изгладить допущенную ошибку. Тем более что деликатный Проспер Альпанус сумел придать решению форму компромисса, вполне почетного и потому приемлемого для самолюбивой феи. Там, где сталкиваются носители свободного разума, дело всегда может быть решено эффективным образом, удовлетворяющим обе спорящие стороны. Ведь он — ученик самого «профессора Зороастра, старого ворчуна, который, однако, чертовски много знал», — и сам вынужден был пойти на компромисс с вводящим просвещение князем Пафнутием.

Эпизод этот стоит того, чтобы на нем остановиться чуть подробнее. В первых, когда Гофман говорит о годах студенческого воспитания Проспера Альпануса, нельзя не заметить, что он имеет в виду собственный студенческий опыт и что использует перифраз, заставляя Проспера слушать «лекции профессора Зороастра». Под Зороастром, который профессором быть не мог и лекций никаких никогда не читал, надо понимать профессора Канта, который, в бытность Гофмана студентом, действительно был *старым ворчуном, однако чертовски много знающим*. Слишком лобовым решением было бы назвать профессора Сократом: еще при жизни Канта стали называть «пруссским Сократом»; а Зороастр вполне соответствовал сказочному персидскому Джиннистану, откуда якобы приходят и куда уходят феи...

То, что мы имеем дело с перифразом, подкрепляется всей ситуацией. Старый ворчун ведь и на деле учил в своих лекциях о допустимости компромисса даже в морали, вопреки убеждению многих и многих людей об абсолютном ригоризме Канта, когда с неустранимой необходимостью сталкиваются в ситуации различные нормы самой морали. Тогда должно следовать норме более сущностной и более фундаментальной. Например, показателен пассаж, который имеет место в конспектах лекций Канта по этике Г. А. Коллинза (G. L. Collins), К. Мронговиуса (C. C. Mrongovius) из зимнего семестра 1785 г., когда Кант готовил к печати текст «Основ метафизики нравственности», а также И. Ф. Вигилантиуса (I. Fr. Vigilantius) уже из 1793 г., того самого года, в котором Э. Т. А. Гофман слушал лекции в университете. Здесь Кант говорил следующее: «Коль скоро я из-за насилия, примененного ко мне, вынужден буду сделать признание, и мое высказывание будет использовано несправедливым образом, и я посредством молчания не спасу себя, то ложь в таком случае является ответным оружием. Вынужденное признание, которое может использоваться против меня, позволяет мне защищаться» [5, с. 203—204].

Именно по этому рецепту действует Проспер Альпанус в критической для него ситуации. В завязавшейся упомянутой выше беседе он признается фее: «В правление достойного князя Деметрия я поселился в этой маленькой стране.

— Как, — удивилась фрейлейн, — и вас не выслали, когда князь Пафнутий насаждал просвещение?

— Все нет, — ответил Проспер, — более того: подлинное свое "я" мне удалось скрыть совершенно, ибо я употребил все старания, чтобы в различных сочинениях, которые я распространял, высказать самые отменные познания по части просвещения».

Что же это были за сочинения? Их характеристика — это то, во-вторых, чем замечателен эпизод, о котором идет речь. «Я доказывал, — продолжает Проспер Альпанус, — что без соизволения князя не может быть ни грома, ни

молнии и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя и благородных господ — его приближенных, кои весьма мудро совещаются о том в своих покоях, в то время как простой народ пашет землю и сеет. Князь Пафнутий возвел меня тогда в должность тайного верховного президента просвещения, которую я вместе с моей личиной сбросил как тягостное бремя, когда миновала гроза. Втайне я приносил пользу, насколько мог. То, что *мы* (важный курсив самого Гофмана. — Л. К.) с вами, досточтимая фрейлейн, зовем истинной пользой». Маг и чародей продемонстрировал поведение, соответствующее рецептам старого ворчуна Канта. Но не это самое важное — самое важное то, что из-под пера Проспера Альпануса вышла пародия на знаменитый трактат Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» Пародируется сам этот трактат, и пародируется с той целью, чтобы читатель не мог не догадаться об истинном содержании произведения, о той действительной пародии на установление просвещенного режима, какую представляют собою многие действия прусских властей по реставрации донаполеоновских порядков. Сочинения Проспера Альпануса — это пародия в пародии, подобная гамлетовскому театру в театре. И уже апофеозом всего является ирония автора над собою, находящимся в положении своего героя и действующим при написании «Крошки Цахеса, по прозванию Циннобера» точь-в-точь по модели Проспера Альпануса, восходящей к модели его учителя Зороастра-Канта. Гений Гофмана заставляет остановиться в изумлении и хлопнуть себя по лбу, сдернув с головы шляпу, коли она на ней есть.

* * *

Остальное в «Крошке Цахесе» ... ясно. Циннобер, утратив покровительство феи, обратился в исходного уродца, так что князь не признал в нем своего любимца-министра, носителя Ордена зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, как, вполне естественно, стал он отвратительным уродом и для всех остальных. Жить таковым он уже не хотел и не мог, а потому трагическая случайность как результат несоответствия реальности условиям бытия в роскошном дворце оборвала его жизнь. И это было для него благом.

Те из героев, в ком горела искра божья и кто сначала растерялся в новых условиях и уже совсем начал было отчаиваться, с помощью советов Проспера Альпануса сумели обрести мужество, и это дало им возможность решить их проблемы. Более всего повезло, конечно, Бальтазару, не смирившемуся с несправедливыми новыми порядками и на единый миг. Но даже и он растерялся; и чем все могло для него кончиться, не окажись вовремя помощник Проспер, предсказать не так уж трудно. А тут он зажил с красавицей-женой в полнейшем достатке.

В Керепесе правил уже третий князь — Барсануф, но на положении в обществе и государстве это фактически не сказалось. Просвещение по Пафнутию продолжало быть непоколебимым.

* * *

В заключение осталось обсудить очень важный вопрос о жанре этого произведения, которое сам Гофман называл и сказкой, и повестью. Из предложенной здесь интерпретации видно, что сказочные мотивы играют в «Крошке Цахесе» совершенно служебную роль. У писателя были свои основания называть свое творения сказкой и радоваться, когда рецензенты указывали на сборник сказок «Тысячи и одной ночи», на сказки братьев Гриммов, на Шарля Перро или «Метаморфозы» Овидия. Однако чаще всего он называ-

ет его повестью. Так оно и есть. Но перед нами не простая повесть, пусть и с элементами сказки, — перед нами повесть-антиутопия! Вполне возможно, это первый в мировой литературе опыт антиутопии. Перед нашими глазами разворачивается гротескный результат введенного в государстве просвещения. Приемы подобного учреждения просвещенного режима с удивительными совпадениями даже в мелочах повторяются в истории.

Гофман рисует картину событий, завершившихся якобы вполне счастливо. Он даже особенно подчеркивает и настаивает на счастливом конце своего повествования. Но и тут он величайший ироник. Он предупреждает общество и провидчески предсказывает, что его ждет, если свобода граждан будет все больше и больше попирается, если их — граждан — приучат быть счастливыми и жить просвещенно по команде сверху. Будь в качестве командира князь, фюрер, генеральный секретарь, незаменимый президент — толпа опекунов, как назвал эту публику Кант, желающая научить безмозглый народ жизни, не редает.

Кант заканчивает свое эссе «Ответ на вопрос: что такое Просвещение» как оптимист, из величественной перспективы отдаленного будущего всечеловеческой цивилизации: «Этот дух свободы распространяется вовне даже там, где ему приходится вести борьбу с внешними препятствиями, созданными правительством, неверно понимающим самого себя» [6, т. 6, с. 35]. Так как природа раскрыла хранимый под своей твердой скорлупой «зародыш, о котором она самым нежным образом заботится, а именно склонность и призвание к свободе мысли, то этот зародыш сам воздействует на образ чувствования народа (благодаря чему народ становится постепенно более способным к свободе действий) и, наконец, даже на принципы правительства, считающего для самого себя полезным обращаться с человеком, который есть нечто большее, чем машина, сообразно его достоинству» [6, т. 6, с. 35].

Э. Т. А. Гофман, в отличие от своего учителя, не был столь терпелив. Ему самому хотелось пожить при таком правительстве. К сожалению, это ему не удалось.

Список литературы

1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001.
2. Ботникова А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. М., 2005.
3. Гофман Э. Т. А. Избранное. Калининград, 1994.
4. Граф Герман фон Пюклер-Мускау. Письмо от 2 февр. 1819 г. // Э. Т. А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма. Высказывания, документы / Сост. К. Гюнцель. М., 1987.
5. Кант И. Лекции по этике. М., 2000. С. 203—204.
6. Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1964—1966.

Об авторе

Каинников Леонард Александрович — д-р филос. наук, проф., Российский государственный университет им. И. Канта, kant@albertina.ru.

Организация в журнале «Кантовский сборник» раздела «Неокантианство» — событие предсказуемое, закономерное и ожидаемое. Хотя нельзя сказать, что до его создания неокантианская тема была *persona non grata* для сборника, скорее даже напротив: почти в каждом его номере появлялись аналитические работы, посвященные той или иной неокантианской проблеме, тому или иному философу-неокантианцу, — все же выделение специального раздела должно способствовать консолидации исследователей неокантианской проблематики, привлечению в их ряды молодых коллег из разных сфер научного знания, интенсификации разработок вопросов, так или иначе входящих в сферу неокантианской философии.

Как не вспомнить здесь исторический факт издания молодыми философами-неокантианцами в начале прошлого века журнала «Логос». Не претендуя на ту роль, которую сыграл этот журнал в отечественной философии, мы, однако, хотели бы, повторив, присоединиться к словам программной статьи редакции «Логоса», звучащим во многом актуально и ныне: «Мы глубоко верим в будущее русской философии, а также в то, что основанное на безусловном усвоении западного наследия философское творчество наше неизбежно вберет в себя имеющиеся у нас своеобразные и сильные культурные мотивы, обнаружившиеся пока лишь в области художественного и мистического творчества, и тем самым бесконечно обогатит мировую философскую традицию» (Логос. 1910. №1. С. 13.)

Цели и задачи раздела, как уже было заявлено, более скромные: историко-философские — продолжить то, что начинали в «Логосе» в направлении знакомства русского читателя с историей и современностью неокантианских штудий на Западе. Но к этой задаче естественным образом присоединяется и задача «открытия» истории русского неокантианского движения, красной строкой в которой прописаны и история журнала «Логос», и история нашего журнала.

Редколлегия

